

ДЭВИД Б. КЛАРК

Потребление и город, современность и постсовременность*

Литература современности и темы модернизма не имели отношения к походам по магазинам (*Wolff, 1990: 58*).

Но в то же время поход по магазинам не остался «невидимым» для литературы современности. Совсем наоборот... (*Wilson, 1995: 68*).

Таким образом, «форма» гипермаркета может помочь нам понять, что имеется в виду под концом современности (*Baudrillard, 1994: 77*).

Введение: (пост)современность и потребление

Тот же самый процесс рационализации производительных сил, который в XIX веке имел место в секторе *производства*, в XX веке завершился в секторе *потребления* (*Baudrillard, 1988a: 50*).

За дисциплинарным обществом приходит современный город (*Alliez and Feher, 1989: 54*).

В нынешней переоценке потребления, его исторического и современного значения, многое может быть связано с ретроспективным признанием того, что ход событий пошел не по тому пути, который предсказывали и проектировали первые мыслители-модернисты. Осмелимся сказать, что только сейчас мы получили возможность понять, что современность была, прежде всего, *исключительным* положением дел — не окончательным решением загадки мира (как ей бы хотелось саму себя видеть), а преходящим состоянием, при котором такая саморепрезентация провозглашалась, распространялась и превозносились. Сегодня, когда для многих этот конец со-

* Эта работа получила грант № H52427002294 Совета по экономическим и социальным исследованиям по теме «Потребление, жизненный уклад и город». Более ранняя версия была представлена в качестве доклада на конференции рабочей группы по проблеме «Социология потребления» Европейской социологической ассоциации (Таллинн, Эстония, 29–31 августа 1996 г.). Я хотел бы поблагодарить участников конференции за интересные замечания, а также выразить благодарность Маркусу Доелю и Мартину Пурвису за ценную подробную критику. Разумеется, ответственность за все недостатки работы лежит только на мне.

временности становится поводом для ностальгии, сетований или беспокойства, более осмотрительный подход выявляет насквозь «современный» характер этих реакций: они основаны на ложных надеждах, внутренних современностью. Задача, таким образом, заключается в том, чтобы обнаружить иную историю, документировать процесс исчезновения, которому всегда была подвержена современность, и дать оценку процессам социальных изменений, становящихся очевидными, когда историю глядят против шерсти. Всё это можно отождествить с идеей постмодерна (постсовременности). Однако с этим термином нужно обращаться осторожно.

В частности, определение «постмодернистский», безусловно, не должно использоваться для периодизации истории по эпохам. Действительно, сам термин сигнализирует об исчерпанности такого идеологического метанарратива, как «История»: на смену линейному экстраполированию приходит осознание циклического исчезновения и вечного возвращения. Еще менее правомерно отнесение этого термина к каким бы то ни было началам «посткапиталистической» ситуации. Напротив, моя точка зрения состоит в том, что благодаря переменам, имеющим прямое отношение к потреблению, капиталистическое общество стало свидетелем наступления «нового способа господства», который «отличается тем, что заменяет репрессии приманками, политику — связями с общественностью, властные полномочия — рекламой, навязывание нормы — созданием потребностей» (Bauman, 1987: 167–168). Какие формы приняли эти преобразования и какое место занимает в них город — вот предмет настоящей статьи.

«Всякое начало представляет трудность», — писал Маркс (Marx, 1967: 18). Это особенно верно в тех случаях, когда статус целого ряда терминов должен быть предварительно установлен с опорой на минимум аргументации и обоснований. Изначальный ход мысли станет прозрачным лишь тогда, когда вооружится всеми следствиями, вытекающими из этих аргументов. Соответственно, большая часть этого введения будет по необходимости состоять из утверждений; понятия будут вводиться в качестве «первых приближений» и затем разрабатываться подробнее по ходу статьи. Начнем мы с довольно поверхностного рассмотрения вопроса об «исключительном» статусе современности.

Встреча человечества с миром всегда была событием глубоко таинственным. Человеческие общества традиционно получали гарантии онтологической безопасности благодаря социальным мерам, принимающим фундаментальную амбивалентность мира (Giddens, 1994). Поскольку традиционные способы существования были связаны с чувственно воспринимаемым миром символически, такие общества могли использовать прочно утвердившиеся ритуализованные пути и средства бытия-в-мире. Целостность такого существования гарантировалась только опытом самой традиции и была узаконена силой власти более высокой, чем человеческая воля. Современность, напротив, твердо основывалась на отрица-

нии неизбежного характера такой амбивалентности (Bauman, 1991)¹. Действительно, современность предложила мечту о достижимом *порядке*. А порядок – как обещание избавления мира от амбивалентности и непредвиденных случайностей – по необходимости видел в случайности угрозу и демонизировал амбивалентность. Прежде всего, с наступлением современной эпохи сила *разума* начала рассматриваться как единственная возможность избавления от мертвого груза ушедшей традиции, в результате чего получила выход человеческая способность к переоценке – коллективной или индивидуальной – путей и способов жизнедеятельности общества. В известной степени современность может быть охарактеризована как победа «канонической морали перемен» (Baudrillard, 1972: 141; цит. по: Pefanis, 1991: 132, примеч.17). Как пишет Бауман, «для современности война против таинственного и мистического была освободительной войной, ведущей к декларации независимости разума» (Bauman, 1992). Однако такая декларация заключала в себе непреодолимую, в конечном счете, проблему, поскольку влекла за собой «деспиритуализацию, обездушивание мира, отрицающее правомочность *субъекта*» (там же). Эта правомочность сохранялась только за человеческой волей.

Если разум проблематизирует любой аспект чувственно воспринимаемого мира, что по своей глубинной природе противоречит идее порядка *как такового*, то тогда все эти таинственные качества мира нуждаются в исправлении. В определенной мере, современное «расколдовывание мира» равносильно его «принудительной реализации» (Baudrillard, 1993a: 45); деспиритуализация мира явлений требует не больше и не меньше, чем *полного уничтожения* амбивалентности.

Это, однако, требование невозможного. Это невозможно постольку, поскольку попытка современности избавить мир от дурной случайности *неизбежно* порождает своего собственного заклятого врага, поскольку разум может занять собственную нишу (так сказать, утвердить свое существование) только в оппозиции к своему подчиненному Другому. Иначе говоря, разум может производить впечатление логически последовательного и полноценного только на фоне некоей заблуждающейся, иллюзорной и непоправимо иррациональной «неразумности». И хотя разум стремится отделаться от своего подчиненного двойника (который неизбежно высту-

¹ Бауман считает, что «амбивалентность, возможность отнесения объекта или события более чем к одной категории – это специфически языковой беспорядок: сбой номинативной (изолирующей) функции, которую должен выполнять язык» (Bauman, 1991: 1). Или, как пишет Дуглас, «мусор – это побочный продукт систематического упорядочивания и классификации материи... реакция, забраковывающая любой предмет или идею, которая может нарушить или опровергнуть заветные классификации» (Douglas, 1970: 48). Однако амбивалентность *неизбежна*: «Амбивалентность... это alter ego языка и его постоянный спутник – собственно, его обычное состояние» (Bauman, 1991: 1). Представление о классификации и порядке, амбивалентности, мусоре и беспорядке необходимо для понимания нижеизложенного.

пает в роли собственной *дефектной модификации*), первый, тем не менее, зависит от последнего. Его Другой служит его собственным оправданием или сообщником. Но, вопреки этой глубинной невозможности, последовательное упрочение современности может происходить лишь в той мере, в какой «любая амбивалентность редуцируется эквивалентностью» (Vaudrillard, 1981: 135)². В этом отношении современность может быть охарактеризована как «безграничный процесс разрушения мира явлений ... на службе смысла, ... «расколдовывания» мира, подвергающего этот мир насилию интерпретации и истории» (Vaudrillard, 1994: 160).

Если редукция амбивалентности к эквивалентности влечет за собой самоутверждение разума в оппозиции к собственному Другому, то свое оправдание она, тем не менее, получает из другого источника. Поскольку современный разум связан с обещанием упорядочивания мира, возникает необходимость в какого-то рода оценки относительной ценности многочисленных и различных путей, которые избирает социальное существование, избавленное от уз традиции. На самом деле разум получает власть лишь в той мере, в какой он обуздывается во имя *прогресса*, а обещание прогресса требует определенных способов оценки степени его реализации. Короче говоря, оно требует как раз той подотчетности, которая воплощена в принципе эквивалентности. Соответственно, в ходе истории современность породила нескончаемую серию абстрактных редукций и формализаций, которая началась с редукции множественных явлений, восприятий и качеств мира к дискретным знакам и в конечном счете доходит до редукции природы к функциональной объективной форме, гетерогенных конкретных видов человеческой трудовой деятельности — к гомогенной абстрактной стоимости труда, многочисленных темпоральностей — к часовому времени, многочисленных пространственностей — к картографируемой евклидовой геометрии и т. д. Современный разум и его обещание прогресса в сторону ясно организованного мира были, таким образом, взаимно усиливающими принципами.

Прогресс, однако, означает значительно более кольцеобразный и спиралевидный процесс, чем это допускала современность, — всё это связано с центральным противоречием, воплощенном в разуме. Можно сказать, что современный разум — это всего лишь *пристрастие к рационализации*: как указывал Фрейд (хотя его мысль, невзирая на эту блестящую до-

² Исходная модель этого процесса обнаруживается в христианской церкви. Если амбивалентность зачарованного мира была очевидна в «древних культах, где была всё еще сильна базовая интуиция специфики зла и смерти» (Vaudrillard, 1993b, 149), то церковь стремилась «установить высочайший принцип Добра (Бога), редуцирующий зло и смерть до диалектически подчиненного другому негативного принципа (Дьявола)» (там же). Таким образом, в определенном смысле, дело не в том, что религиозная основа общества в конце концов — и на довольно поздней стадии — была секуляризована (Chadwick, 1975), а в том, что она постепенно теряла свою специфику в сфере религии.

гадку, оставалась до определенной степени не проясненной), характерная для современности вера в разум есть не более, чем вера. Это как нельзя более очевидно в случае прогресса: «Вместо того, чтобы основывать уверенность в себе на вере в прогресс, образованная элита [западной Европы] выводила идею прогресса из ощущения своего незапятнанного превосходства» (Bauman, 1987: 110). Прогресс всегда определялся на основании беспрецедентной современной уверенности в превосходстве своего собственного способа существования. Идея прогресса порождалась, прежде всего, «новизной в ощущении объективного времени» (там же). Несмотря на то, что «в течение почти всей истории христианской Европы времяисчисление было организовано вокруг фиксированной точки в медленно стирающемся прошлом», вера в универсальный разум «сменила точку отсчета объективного времени, прочно прикрепив ее к установке [современности] на колонизацию будущего, подобной уже произошедшей колонизации окружающего пространства» (там же).

Вера в самоопределившуюся историческую центральность современности была такова, что она автоматически заносила в списки неполноценных любой альтернативный способ существования, который, таким образом, неизбежно оказывался на «скамье подсудимых» истории³.

Таким образом, прогресс был далеко не идентичен его современной репрезентации в виде рационального пути к восхитительному окончательному порядку. И, поскольку проблемы, которые стремилась преодолеть современная редукция амбивалентности мира, всегда лишь вытеснялись, это вытеснение прочно закрепилось в самом центре траектории современности. Современное требование средств оценки скорости, с которой прогрессирует сам прогресс, неизбежно выдвигало новые проблемы – проблемы, в конце концов подорвавшие саму идею прогресса. Дело в том, что как только мы отступаем от традиционных нерелексивных способов социального существования, становится очевидным целый ряд глубинно апорийных различий между способами оценки. «В течение почти всей истории человечества, – пишет Бауман, – люди не видели или не делали больших различий между такими (ныне строго разделенными) стандартами человеческого поведения, как “польза”, “истина”, “красота”, “пристойность”» (Bauman, 1993a: 4). Однако с наступлением современной эпохи такой процесс дифференциации неизбежно заявлял о себе: «Некогда единый и неделимый “праведный путь” начинает разделяться на “экономически выгодный”, “доставляющий эстетическое удовольст-

³ Я не хочу сказать, что современность устраняет или исключает движения, принижающие ее идеальную репрезентацию. Напротив, постепенный рост представлений о целом ряде (часто ностальгических или утопических) характеристик современности как ведущих к ложному, ущербному или неаутентичному социальному существованию – от Маркса и Энгельса до Рескина, Уильяма Морриса и других – свидетельствует о том, что современность активно порождала видение собственной неадекватности и неосуществимости.

вие”, “пристойный с точки зрения морали”» (там же: 5). Поскольку современность может защищать свою цельность, подчиняя себе на время те или иные способы оценки — сегодня, например, возвышая принцип «экономической выгоды» над всеми другими принципами — то в конце концов она достигнет ситуации, когда будут видны очертания ее границ и когда сама вера в современность будет подвергнута глубокому и повсеместному расколдовыванию. Современности было суждено с самого начала асимптотически двигаться к своим собственным границам.

Таким образом, действующая отмена прогресса современности совершилась изнутри — в результате принципиальной невозможности выдвинутых современностью условий возможности. Говоря словами Бодрийера (Baudrillard, 1993b; 1994), это в конце концов совершилось благодаря *симуляции* и логике симулякра. Первоначально расколдовывание до-современного мира смысла основывалось на диалектической силе репрезентации, которая могла заменять реальность и обмениваться с ней ролями. Но ренессансное «освобождение» знака от его до-современного иерархического статуса в конечном итоге нашло замену в сериальной (ре)продукции знака — знаменуя тем самым постепенный сдвиг: на смену возможности *подделки* приходит *копия* (ср. Benjamin, 1975). В тот момент, когда понятие копии теряет пейоративное значение (простой) подделки, *подлинное, реальное* уже не приравнивается к *оригинальному*. Однако сам этот сдвиг открывает путь третьему порядку «чистых симулякров», в котором статус реального подорван полностью и окончательно. Чистый симулякр не является — и, действительно, не может являться — (неверной) репрезентацией или диффамацией реальности, но скорее влечет за собой порядок гиперреальности, «реального без истого или реальности» (Baudrillard, 1994: 1), где «самим определением реального» становится «то, для чего возможно предоставить эквивалентную репродукцию» (Baudrillard, 1993b: 73). В таком случае, «если репрезентация пытается поглотить симуляцию, интерпретируя ее как ложную репрезентацию, то симуляция окружает всю систему репрезентации как симулякр» (Baudrillard, 1994: 6). Как только симуляция принимает на себя этот высший статус, она узурпирует реальное; теперь реальное — это, так сказать, уже не то, чем оно было раньше. Сегодня реальное уже не может — если (как будто) оно когда-то могло — считаться более реальным, «чем то, что симулирует реальность» (Bauman, 1992: 151). Эта ситуация находится в одном ряду с тем фактом, что постмодерн может быть охарактеризован как «безграничный процесс разрушения смысла, равноценный предшествующему разрушению мира явлений» (Baudrillard, 1994: 161).

Оглядываясь на философскую традицию софистов и ее связи с понятием симулякра, Аллиез и Феер утверждают, что «функция власти почти математически изменяется в соответствии с нуждами пост-урбанистической аггломерации и начинает связываться с изощренной фальсификацией

(sophistication), которая постепенно сливается с бывшим аппаратом надзора и в конце концов замещает его точно так же, как последний в свое время пришел на смену методам ограничения свободы» (Alliez and Feher, 1989: 54). Такая «фальсификация» согласуется с попытками связать перерождение современности в пост-современность с потреблением (Jameson, 1983; Featherstone, 1989). Именно этой связи посвящена настоящая статья. Существенно необходимо, однако, с самого начала подчеркнуть, что потребление следует понимать именно *в качестве* потребления, а не с какой-либо иной точки зрения. В частности, важное и — есть все основания так думать — возрастающее значение приобретает системное измерение потребления. «Правда о потреблении состоит в том, что оно является *функцией производства*, а не функцией удовольствия, и поэтому... это не индивидуальная функция, а *непосредственно и тотально коллективная*», — настаивает Бодрийяр (Baudrillard, 1988a: 46). Конечно, потребление представляется — а для многих, несомненно, и является — деятельностью, приносящей немалое удовольствие и характеризующейся, как минимум, ощущением свободы. Но потребление *как таковое* неизбежно связано с иной социальной логикой, чем логика индивидуального удовольствия. Действительно, по словам Бодрийяра, «система потребления как социальная логика всецело покоится на отрицании удовольствия. Удовольствие больше не является целью, объектом рационального стремления, но превращается в индивидуальную рационализацию процесса, имеющего внеположенную цель» (там же). Короче говоря, отождествление потребления с удовольствием, свободой выбора и тому подобными вещами — это не только глубоко *редукционистское* отождествление; его следует расценивать как непреднамеренное непонимание — что сегодня получает особое значение. Выражаясь прямо и попросту, можно сказать, что роль, которую начало играть потребление, тесно связана с выживанием — и трансформацией — капитализма. Как недавно подчеркнул Бодрийяр, «для капитала было жизненно важно превратить рабочих и производителей в активных потребителей и даже непосредственных акционеров капиталистической экономики (это ничего не меняет... поскольку стратегия, как всегда, остается прежней: сменить скатерть, ничего не меняя в организации стола)» (Baudrillard, 1995a: 100).

Современность, город и посторонний

Город — это место не встреч

(Bauman, 1993a: 157)

Отношение к «современности», несомненно, отличается сложностью и многообразием (Verman, 1983; Taylor, 1996), но, может быть, именно XIX век стал свидетелем полного расцвета ряда глубоких изменений, начавшихся за три с лишним века до этого. Более того, именно в XIX веке эпи-

центр широких и разнообразных перемен, которые принесла с собой современность, стал неуклонно перемещаться в город. Вот почему тогдашние труды, посвященные проблемам города, — от Бодлера (Baudelaire, 1970) до Зиммеля (Simmel, 1971) и Энгельса (Engels, 1962), — как правило, выражают изумление, замешательство, а подчас и явно выраженную обеспокоенность развитием условий современной городской жизни. Нередко такая реакция возникала не в последнюю очередь благодаря сильному — подразумеваемому ли, открыто ли обсуждаемому, или (как в случае Энгельса) полемически преувеличенному — контрасту с предшествующим, якобы более «естественным» способом социального существования. Жизнь современного города должна была казаться не больше и не меньше, чем фундаментальной противоестественной мутацией человеческого рода. Однако такое изумление — и, в меньшей степени, такая обеспокоенность — демонстрировали явную тенденцию к снижению по мере того, как черты современной городской жизни становились всё более привычными. Происходило это не только в результате возросшего накопления в городе материальных благ (способствующего, например, улучшению функционирования города) — это было также продуктом концентрирующего накопления бытового городского опыта. Этот опыт привел к появлению гетерономного ряда урбанистических дискурсов — к «технокосмополитизму» (Gregory, 1994: 138), выработавшему концептуальный язык, с помощью которого можно говорить о тех или иных аспектах города и городской жизни и воздействовать на них в соответствии с предустановленными целями. Снижение таких реакций, как изумление или замешательство и приход им на смену знаменитой зиммелевской «пресыщенности» (Simmel, 1971) были, таким образом, частью процесса, порожденного новыми общественными отношениями, возникшими в современном городе; урбанизм, по достопамятному слову Л. Уирта, стал особым «образом жизни» (Wirth, 1938).

Вопросы, поднятые в трудах о городе, увидевших свет в прошлом веке, несомненно, принадлежали к той категории вопросов, ответы на которые никогда не будут найдены⁴. Соответственно, продолжающееся развитие современного урбанизма принесло с собой впечатляющую возможность вытеснить (или отсрочить) все такие вопросы — и, более того, отрицать, что такое вытеснение произошло (или что такая отсрочка имела место). Современность в целом функционировала так, чтобы сделать невидимыми те вопросы, которые причиняли наибольшее неудобство ее собственному длящемуся существованию: «Современность имела поразительную способность не поддаваться самоанализу ... она покрыла механизмы самовоспроизводства завесой иллюзий, без которых эти механизмы как таковые не смог-

⁴ «Вопрос без ответа — это барьер, который нельзя сломать. Другими словами, именно вопросы без ответов, определяющие пределы человеческих возможностей, очерчивают границы человеческого существования» (Kundera, 1984: 139).

ли бы должным образом функционировать», — утверждает Бауман (Bauman, 1993a: 3). В той мере, в какой вопросы, которые современность предпочла бы не затрагивать, вообще были репрезентированы, они изображались как в принципе разрешимые, практически уже решенные; с ними вот-вот разделяются раз и навсегда (разделяется верховная власть, обладающая необходимым знанием, умением и опытом). Однако несмотря на это по вселенной бродил призрак амбивалентности. И этот призрак чаще всего являлся в городе. Амбивалентность, отражающая (неисполнимое) желание современности преодолеть амбивалентность как таковую, позволяла с особой силой почувствовать свое призрачное присутствие в преходящем, фрагментарном опыте современной городской жизни.

Через, в общем-то, импрессионистические рассуждения Зиммеля о городе XIX века (Simmel, 1971) — о его темпе и ритме, о трансформации предсуществующих темпоральностей, о рождающихся в нем новых общественных отношениях (навязанных и координируемых прежде всего когнитивной силой денежной формы) и о трансформации социальной и физической дистанции и пространства — красной нитью проходит настойчивое указание на преходящий, фрагментарный характер жизни современного метрополиса. Ибо здесь, в современном городе, полноценность присутствия как такового уступила место какому-то *призрачному* присутствию — как будто бы город населен призраками чего-то давно похороненного. Амбивалентность, проявляющаяся во фрагментарном опыте городской жизни, персонифицировалась, прежде всего, в мимолетной фигуре *постороннего*⁵. Посторонние населяли современный город со скоростью, почти прямо пропорциональной тому размаху, с которым современность в целом стремилась отрицать неизбежность амбивалентности. Ибо, с новыми формами дистанцированных социальных отношений, порожденных современностью, появление в пространстве современности постороннего было, с одной стороны, совершенно необходимым, а с другой стороны, было неминуемо чревато тревогой.

«Есть друзья и враги, — пишет Бауман. — И есть *посторонние*» (Bauman, 1990a: 143). Посторонний принадлежит к категории людей, определяемой как раз их *неопределенностью*: не друг и не враг, не сосед и не чужак — посторонний ломает барьеры между теми и другими. Аллотропная категория постороннего *неизбежно* бросает вызов параметрам упорядочивающего принципа современности, который может быть, соответственно, охарактеризован как «вязкий» или «скользкий»⁶: размазывающийся по обеим полюсам оппозиции, находящийся по обе стороны рубежа, нарушающий границу, и в то же время полностью не присутствующий и не отсутствующий

⁵ Этими замечаниями я обязан лекции «Город и посторонний», прочитанной профессором Зигмунтом Бауманом 7 декабря 1994 г. под эгидой Центра культурных исследований Университета Лидса.

⁶ О «скользком» (*le visqueux*) см. у Сартра (Sartre 1957: 604–659).

щий ни на одной из двух сторон. И всё же такая «вязкость» или «скользкость» обладает качеством *клейкости*, необходимым для скрепления или склеивания тех терминов, которые современность стремилась удержать *вместе* в самой их *противопоставленности* (Doel, 1996). Сама возможность появления постороннего есть, таким образом, прямое следствие (неисполнимой) попытки современности уничтожить амбивалентность. Это — вытеснение и замещение той самой амбивалентности, которую стремились стереть упорядочивающие функции современности. Более того, это вытеснение было следствием *реконфигурации социального и физического пространства*, внутренне необходимой для развития современности.

Если пространственное устройство ранних обществ было таким, что физическая и социальная дистанции оказывались тесно коррелирующими, то социальная форма современного города — и появление постороннего — явно указывает на разрушение этой простой корреляции. В до-современном обществе люди, чья жизнь в физическом пространстве проходила в непосредственной близости друг от друга, как правило, были, соответственно, близки и с социальной точки зрения. Точно так же люди, дистанцированные географически, были дистанцированы друг от друга социально. И хотя такая ситуация никогда не могла гарантировать четкого деления на живущих поблизости друзей и соседей, с одной стороны, и далеких чужаков и (*потенциальных*) врагов, с другой стороны, тем не менее, она предоставляла некоторую уверенность в прочности социальных отношений (например, врагов, находящихся близко к дому, можно было, по крайней мере, распознать в качестве таковых; они не несли в себе непредсказуемости *потенциальной* угрозы, чувство которой *неизбежно* вызывают чужаки). Истинное значение господства постороннего может быть осмыслено только в контексте распада корреляции между социальным и физическим пространством, порожденного силами современной урбанизации. Ибо, вопреки границам, традиционно уравнивающим физическое и социальное пространство, посторонний — на первый взгляд *противоестественно* — «социально далек, хотя физически близок» (Bauman, 1993a: 153). Так амбивалентность, характеризующая пространства современного города, оказалась воплощена в фигуре постороннего.

Посторонний, как показал Зиммель (Simmel, 1971; 1978), жизненно необходим для новых условий общественной жизни, которые стремилась навязать современность, при том что его неизбежное предназначение — вызывать тревогу. Образцом такой ситуации является современная денежная система, которая была необходима как предварительное условие возникновения отношений, воплощенных в постороннем, *и одновременно* поддерживалась именно этим типом отношений: «Желанный партнер для финансовых операций (о которых правильно говорят, что «бизнес есть бизнес») — это человек, нам совершенно безразличный, не настроенный ни в нашу пользу, ни против нас» (Simmel, 1978: 227). Точно так же, однако, встречи

с посторонними неминуемо принимают форму тревожных «невстреч»; мимолетные, эпизодические встречи, рожденные современной политической экономией и необходимые для ее существования, и вместе с тем невозвратно оторванные от предшествующей моральной экономии, при которой социальное пространство обычно совпадало с физическим. Таким образом, можно сказать, что мир современного города был, в то же самое время, миром посторонних и для посторонних — миром, в котором начала господствовать всеобщая чуждость (Lofland, 1973) ⁷.

Для тех, кто хотел утвердить силу определяющего и поддерживающего порядка, присутствие постороннего служило знаком непрекращающейся необходимости *навязывания* порядка — единственного, как им казалось, способа борьбы с амбивалентностью и исправления ситуации, продолжавшей осквернять современное урбанистическое общество. Ведь если современность провозгласила, что подходящие критерии оценки общественной жизни подвержены процессу дифференциации, то реакция современности — единственно возможная реакция, совместимая с ее саморепрезентацией как единой, когерентной и внутренне связанной ситуации — заключалась в кодифицирующей силе и власти закона. На практике это порождало пламенную страсть к порядку, стремление навязать систему норм⁸, к которым должна стремиться всякая социализация — норм, которые, прежде всего, противостояли недостатку порядка, присущему любой форме амбивалентности. «Противоестественная», нарушающая границы фигура постороннего стала самой серьезной (*потенциальной*) угрозой современному молярному порядку. Поэтому самым насущным императивом для современности было поддержание своей (всё более институционализирующейся и бюрократизирующейся) деятельности и усиление мер защиты против любого потенциального нарушения ее строго очерченных границ. Социальная категоризация, учет, законотворчество, надзор, полицейские меры и т. д. — вот многочисленные измерения страсти к порядку, возникшей как прямое следствие необходимости защитить балюстрады, от которых зависело выживание современности и продолжение ее функционирования (Roberts, 1988; Ogborn, 1993)⁹. Имевший место процесс этатизации (огосударствливания) на национальном уровне (*имевший место* вполне буквально, в территориальном смысле) служил основным фундаментом для порождения такого рода процессов — процессов, полностью и в первую очередь посвященных осуществ-

⁷ Я бы даже осмелился утверждать, что эта ситуация привела к быстрому росту общедоступных заведений, свойственных городу XIX века, которые, как можно было бы продемонстрировать, репрезентировали характерно современные средства преодоления утраты до-современных, «органических» сообществ (Baernreither, 1889; Morris, 1983; Razzell and Wainwright, 1973, см. особенно Письмо XXI: 320–323).

⁸ Различие между *законом* и *нормой* (можно показать, что оно аналогично различию между современностью и постсовременностью) обсуждается в последующих разделах настоящей статьи.

лению полицейской охраны и защиты абстрактно определенных границ и абстрактно воздвигнутых барьеров, как территориальных, так и нетерриториальных. Можно сказать, что современность руководствуется «суровым законом организации пространства» (Derrida, 1976: 200), конструируя «интеллектуально, при помощи присвоения и распределения знания», ясно упорядоченное, ограниченное и картографируемое «когнитивное пространство» (Bauman, 1993a: 146).

Город представлял в микрокосме (и, возможно, до сих пор представляет) наиболее значимое пространство, представляющее потенциальную угрозу амбивалентности. Самопровозглашенная способность современности определять, устанавливать и удерживать границы, необходимые для поддержания порядка, всегда была, конечно, насквозь идеологической, основанной на неравных властных отношениях. И, по крайней мере, в старом мире — в современном европейском городе — история городских улиц усыпана вспыхивающими революционными стычками и баррикадами, строящимися для борьбы с господствующим порядком. Таким образом, классовое измерение современного города имманентно современному урбанистическому «порядку» как таковому. Действительно, не следует недооценивать, до какой степени современная урбанизация и форма, которую она приняла, тесно переплетена с развитием капитализма (Harvey, 1985a; 1985b). Современный индивидуум, условие и продукт капитализма, первоначально как «вольнорабочий» (в характерной классовой форме раба заработной платы и потому прочно связанный с экспансией денежной формы) был, в большой мере, той же самой фигурой, что посторонний, подлежащий надзору на улицах современного города. И если капитализм был, с одной стороны, всеобъемлющей системой, способной подпитывать урбанизацию, обеспечивающей его постоянным притоком чернорабочих (содержащихся в условиях, достаточных, по крайней мере, для поддержания базовой работоспособности, а в более долгосрочной перспективе — для воспроизводства рабочей силы), то, с другой стороны, тот же капитализм был системой, исходящей из желательности *сегрегации* экономической рациональности от других, моральных проблем — процесс, который Бауман называет *адиафоризацией* (Bauman 1993a). Таким образом, если капитализм сумел создать «резервную индустриальную армию», состоящую из «бесхозных людей», которые, по крайней мере потенциально, создавали наиболее значительную угрозу установленному порядку самим своим присутствием в городе, это была проблема, выходящая далеко за рамки экономической деятельности капитализма, несмотря на прямую экономическую обусловленность.

⁹ В контексте нижеследующего можно отметить, что термин «статистика» первоначально относился к категоризации и учету населения на территории национального *государства* (лат. *status*).

Аморфная, несформированная городская масса посторонних, ставшая для современного государства объектом надзора, была детерминирована капиталом и в то же время передана прямо в руки государства. Таким образом, структурные отношения между государством и капиталом были иногда противоречивыми, но от того, в конечном счете, не менее гармоничными. Однако, даже когда государство переходило к прямому подавлению определенных элементов современного города, в самом городе уже начинало созревать принципиально иное положение дел, значение которого начало полностью осознаваться, пожалуй, только век с лишним спустя.

Дис-локация фланёра, или Затерянные в (эстетическом) пространстве

Для фланёра город — даже если он, как Бодлер, там родился — это уже не место жительства. Город для него — достопримечательность

(Беньямин; цит. по: Frisby, 1994; 94)

В центре всех современных забот о законе и порядке стоял посторонний — персонификация специфически современной тревоги, которую Бауман называет *протеофобия*: «Этим термином обозначается опасение, вызванное присутствием многообразных, аллотропных феноменов, которые упорно не поддаются привыкшему к ясности познанию, игнорируют свое предназначение и подрывают классификационные сетки» (Bauman 1993a: 164). Тот факт, что современный молярный порядок оставался под угрозой, исходившей от того, что этим порядком отрицалось (неважно, до какой степени он решил инспектировать и контролировать когнитивные пространства города), еще раз показывает, что базовому организующему принципу современности было суждено создать не меньше, если не больше проблем, чем решить их. Посторонний — скользкий, эктоплазматический призрак, порожденный «суровым законом организации пространства» — был самым непосредственным и очевидным побочным продуктом всепоглощающей тяги современности к удержанию границ. Но если для пораженных протеофобией резкое увеличение количества посторонних было самым убедительным подтверждением того, что современности требуется удвоить усилия, чтобы достичь жестко кодифицированного социального порядка, то — в совсем другом ракурсе — в наше поле зрения попадает персонификация другого отношения к современному городу: фигура фланёра (Benjamin, 1973; Tester, 1994).

С точки зрения проблем, институционализованных в законе, фланёр воплощает прямо противоположную реакцию на дезориентирую-

щую турбулентность современного города: настоящую *протеофилию*, дислоцирующую когнитивное пространство города, которое стремилась навязать современность, прочерчивая по нему, путем игрового, трансверсального¹⁰ блуждания, гетеротопные контуры *эстетического пространства*. Поэтому «можно сказать, что если протеофобия — это движущая сила когнитивной организации пространства, то *протеофилия* стремится к эстетической организации пространства» (Bauman, 1993a: 168). Соответственно, фланёр — незаинтересованный наблюдатель, искатель удовольствий, праздно шатающийся по улицам города XIX столетия, убивающий время бездельник — стал «ключевой фигурой в критической литературе по вопросам современности и урбанизации» (Wilson, 1995: 61), фигурой, которая, как можно думать, персонифицирует отношение к миру, «в конечном счете более правдивое, чем страсть [к порядку] [городского] реформатора» (там же: 76). Если репрезентация современного городского жителя в виде постороннего имела непосредственное отношение к заботе современности о порядке — и подчас параноидальному упорству, с которым современность настаивала на необходимости социализации в соответствии с законом и необходимости дефинитивных, молярных социальных норм — то фланёр манифестирует его, постороннего, зеркальное отражение: молекулярную антиструктуру по отношению к закону, алеаторную (случайную) и разрушительную *социальность*.

Если посторонний обычно определялся — как левыми, так и правыми реформаторами, но прежде всего государством — по отношению к труду, с точки зрения своих способностей или желания работать (или же отсутствия таковых) — о чем ясно свидетельствует криминализация городской бедноты после принятия закона о бродяжничестве (Davis, 1989; Roberts, 1988) — то другой лик постороннего, фланёр, был больше связан с нетрудовой сферой, с игрой. И всё же, несмотря на классовое измерение, наличие которого очевидно в этом противопоставлении, нужно отметить, что игру не следует определять (вопреки склонности к тому капитализма) как простую противоположность труду; она содержит излишек, не сводимый к такой простой противоположности, то есть к «досугу» (Lefebvre, 1971). Как подчеркивает Бауман (Bauman, 1993a), игра обязательно должна быть *безвозмездной* или *избыточной* (то есть не должна служить никакой «полезной» или «серьезной» цели); она должна быть *свободной* (в том смысле, что нельзя играть вынужденно или *по приказу*); она должна быть *не до конца детерминированной* (то есть следовать «нереальности» или фантазии принципа удо-

¹⁰ Пруст (Proust 1981) сравнивает случайную связь между двумя гомосексуалистами, замеченную повествователем, Марселем, с отношениями между насекомым и цветком, *трансверсальный характер* которой подробно обсуждали Делёз (Deleuze, 1972), а также Делёз и Гваттари (Deleuze and Guattari, 1983). Это согласуется с замечанием Бенямина, что фланёр «ботанизирует на асфальте» (Benjamin, 1973: 26), и с пояснением Уилсона, что фланёр является «натуралистом этого ненатурального пространства» (Wilson, 1995: 65).

вольствия, а не сверхдетерминированности принципа реальности). И, наконец, «фланировать – значит играть в игру под названием “игра” (to play the game of playing)» (Bauman, 1993a: 172):

Такая игра осознает себя как игру. Наслаждение этой игрой – зрелое и чистое. Оно чистое, потому что *эстетическая близость* [фланёра и тех, кто попадает в его поле зрения] не наталкивается на *социальную дистанцию*; прогуливающийся по городу может вовлекать окружающих его посторонних в свой личный театр, не опасаясь, что вовлеченные будут претендовать на права ... инсайдеров (там же; курсив мой. – Д. К.).

Поэтому руководящий принцип фланёра может быть сформулирован очень просто: «смотри, но не прикасайся» (Buck-Morris, 1989: 346).

Фланёра, прогуливающегося по местам публичного пользования метрополиса XIX столетия, нередко рассматривают как воплощение визуального господства над городским пространством, сконденсированного в скопофильском взгляде, нагруженном гендерными импликациями. Поэтому практика фланёрства, казалось бы, категорически исключает даже возможность наличия фланёрок (Wolff, 1990). Однако, как отмечает Уилсон (Wilson, 1995), в действительности фланёр вел гораздо более неопределенное существование: его, по внешней видимости, господский взгляд был, по сути, гораздо менее спокойным и уверенным, чем это принято считать. Конечно, нельзя и не следует преуменьшать важность гендерного аспекта фланёрства, но в то же время сложность отношений между патриархатом, современностью и капитализмом требует особенно внимательного к себе отношения. Анализ этих отношений наводит на мысль, что взгляд фланёра – это не пристальный неослабевающий мужской взгляд, а, скорее, *выхолощенный* взгляд кастрата. Поэтому говорить о мужском взгляде фланёра значит «в значительной степени... недооценивать безнадежность, толкающую его на блуждания» (там же: 73). Тот факт, что целый ряд женщин – я имею в виду такие общепризнанные незаурядные и знаменитые случаи, как случай Жорж Санд – занимались фланёрством, сигнализирует о сложности, которую представляет фланёр(ка). В частности, интерпретация фланёра как вуайериста, блуждающего по заполненным людьми местам публичного пользования, куда большая часть женщин (привязанных к строго приватизированному домашнему пространству) практически не допускалась, лишает сложность современного городского пространства гендерной специфики и универсализирует домашность, присущую в основном женщинам среднего класса.

Места публичного пользования в городе XIX столетия подверглись целому ряду глубоких трансформаций, связанных, как свидетельствуют Бенджамин (Benjamin, 1973) и Кракауэр (Kracauer, 1937), с неодолимым господством процесса коммодификации. Прежние городские места общественного пользования стали свидетелями размывания собственного статуса из-за всё большего распространения частной коммерции, порождаю-

щей такой новый городской культурный опыт, как опыт парижских аркад (Buck-Morss, 1989; McRobbie, 1992). Некоторые из этих новокоммодифицированных пространств — в особенности универсальные магазины (Miller, 1981; Williams, 1982; Leach, 1984; Bowlby, 1985; Lawrence, 1992; Laermans, 1993) — и вправду были ориентированы прежде всего на женщин среднего и высшего класса. В таких пространствах эти женщины могли сами взять на себя роль, близкую к роли фланёра¹¹. Если, таким образом, город предлагал женщинам с достаточными средствами специфичные новые виды свободы, то необходимость таких *изолированных* пространств ясно указывает, что городской опыт этих женщин был опытом среды, в которой доминировали мужчины. В то же время, однако, нельзя сказать, что в современном городе женщины из рабочего класса *не были допущены* в места публичного пользования — и это невзирая на неравное и непростое существование, которое они вели по сравнению с мужчинами всех классов, занимающими эту территорию. По замечанию Уилсона (Wilson, 1995: 70), относящемуся к женщинам из рабочего класса, «в журналистике середины и конца XIX века поражает не их отсутствие, а их *присутствие*».

Наверное, это станет совершенно очевидным, если мы обратимся к проблеме, вызывавшей наибольшую озабоченность у реформаторов — к проблеме женской проституции (Acton, 1968; Buck-Morss, 1986; Walkowitz, 1977; 1980; 1992). В результате, предпринятая современностью гендерная организация публичной и частной *сфер* (Wolff, 1990) вовсе не отображалась ясно и просто на публичном и частном пространстве города. Напротив, принципиальная амбивалентность вела к напряженной и двусмысленной сексуализации всё более коммодифицирующейся городской арены. Именно *отсутствие* ясного, однозначного *пространственного* разграничения между публичной и частной сферой увеличивало и усугубляло опасность города для женщин — особенно для тех, кому город был плохо знаком, как ярко демонстрирует следующая выдержка из «Субботнего обозрения» («Saturday Review») за 1862 г.:

«Деревенский отец семейства» прибывает в Лондон и отпускает двух своих дочерей, юных, прелестных и простодушных, пройтись по магазинам. Незнакомые с моральной географией Уэст-Энда, они по наивности идут по запретной стороне Риджент Стрит. И вот естественное следствие. Молодой джентльмен в любовном настроении, увидев их идущими неторопливой походкой по двусмысленной территории, одних, свободных и привлекательных, приходит к заключению, что на них, пожалуй, стоит взглянуть и начинает соответственно себя вести (Anon., 1862: 125).

¹¹ Хотя универсальный магазин был, очевидно, наиболее значительным пространством такого рода, к этому же разряду явлений следует отнести женские («только для женщин») рестораны, чайные и т. п. (Wilson, 1995).

Таким образом, резко выраженный морализирующий подтекст страсти к порядку городского реформатора связывался с присутствием некоторых «*типов*» женщин в местах публичного пользования города XIX века. Эта противоречивая ситуация отражала лицемерие буржуазного викторианского мужского отношения к сексуальным проблемам, поскольку стремление таких мужчин обезопасить городские места общественного пользования для собственных жен и дочерей было полностью несовместимо с общепринятой эксплуатацией ими женщин из рабочего класса, имевшей место как в домашних, так и в окружающих публичных городских пространствах (Barret-Ducrocq, 1991; Trudgill, 1973). В отношении к проблеме проституции, ставшей главной заботой реформаторов, косвенно выявляется истинный статус фланёра.

Присутствие проститутки в городе XIX века с откровенно патриархальной точки зрения воспринималось как метафора утраты естества, отражающей и усугубляющей широкий коллапс «естественного порядка» в современном городе. Однако если характеристика проститутки как «противоестественного типа» сигнализирует о том пределе, который был установлен для присутствия женщины в городе буржуазным мужским дискурсом реформатора-урбаниста, то с точки зрения ретроспективной *натурализации* более ригидного предшествующего патриархального общественного порядка, городской опыт фланёра также вырабатывался в связи с такого рода сознанием. Замечание Райена о том, что «если город был не только местом рождения новой системы ценностей, сложившейся в рамках современности и капитализма, но и ареной, на которой переформулировалась основы докапиталистической патриархальной культуры» (Ryan, 1994: 49) применимо к целому спектру мужских типов, населявших город XIX века и вырабатывавших свою самоидентичность — но, в частности, фланёр отличается гораздо более противоречивой натурой, чем допускает Райен.

Исключительное значение для фланёрства имеет тот факт, что фланёр занимает парадоксальную классовую позицию. Как пишет Уилсон, «он джентльмен ... хотя и отчасти деклассированный, а, главное, он не имеет никакого отношения к производству» (Wilson, 1995: 63). И если роль фланёра «была доступна только одному узкому сегменту населения, образованным мужчинам ... она ... нередко вела к бедности и безвестности» (там же: 72). Многие фланёры, предававшиеся открытому потреблению, ассоциировавшемуся с городской зоной удовольствия, вели непростое существование художников, писателей и журналистов, разделявших специфическое «отношение к миру купленных людей: они были настроены критически и оппозиционно к филистерству буржуазного общества, но им платили за то, чтобы они развлекали это общество» (там же: 64). Их позиция была такова, что они «отвергали конвенциональное общество, но ... [были] финансово зависимы от него, и в результате их отношение к обществу было циническим или ироническим, а не страстно и последовательно

оппозиционным» (ibid.). Из-за своего городского опыта (фрагментарного и эпизодического, подобно другим видам урбанистического опыта XIX столетия) фланёр, равно как и реформатор, впадал в глубокую *ностальгию*; возникало чувство утраты *этического* качества жизни, которое ретроспективно приписывалось более раннему способу существования. Однако для фланёра головокружительная суэта современного города характеризовалась прежде всего всепоглощающим ощущением собственного *бессилия*.

Эстетизированный, игровой опыт, к которому стремился фланёр, репрезентировал прежде всего реакцию агорафоба на дезориентирующие городские пространства и попытку справиться с ними. Действительно, испытываемое фланёром бессилие непосредственно отражалось на его блужданиях. Согласно Беньямину, «путь того, кто боится дойти до цели, легко принимает форму лабиринта» (Benjamin, 1985: 40). Поэтому эстетическое пространство, порожденное блужданиями фланёра принимало форму лабиринта. Фланёр всё время *терялся* в эстетических пространствах города; его блуждания бесконечно отсрочивали удовлетворение и питали его меланхолию. Уилсон предполагает, что «в лабиринте фланёр ступеньвается, становится пассивным, женственным» (Wilson, 1995: 75). Таково неприятное положение фланёра перед лицом угрозы, которую модернизация города создавала для установленного патриархального порядка.

Таким образом, в некотором смысле *физическая* близость фланёра к проститутке в публичных пространствах современного города наводит на мысль о необычной (и, несомненно, неравноценной) параллели с их положением в *социальном* пространстве — параллель, замкнутая в теоретизациях мужского взгляда, который просто оценивает свое самоутвержденное господство по внешнему виду, со своей собственной точки зрения. В свете опасной коммодификации, поглощающей места публичного пользования современного города, проституция также начала служить метафорой тотального присутствия потребительской формы, ведущего к коммерциализации городского публичного пространства. На взгляд фланёра, это выглядело так, как будто «всё общество занималось какой-то гигантской проституцией; всё шло на продажу, и писатель проституировал больше других, поскольку он проституировал свое искусство» (Wilson, 1995: 73). И несмотря на внутреннюю опасность романтизации фланёра как полностью трагической фигуры, существование как фланёров, так и проституток было, в конечном счете, стоическим; разумеется, и те, и другие выражали свои надежды не в рамках дискурса урбанистических реформ — но и не в прямой оппозиции к этим реформам. Скорее, их жизнь принимала форму постоянного ежедневного выживания в тисках противоречий, установленных самой современностью.

Таким образом, оживленные места публичного пользования современного города, населенного теми посторонними, объективированными под надзором государственных органов, представляли драматизированную иг-

ровую площадку для фланёра, человека, обзирающего урбанистический спектакль выхолощенным взглядом пораженца, изливающего на окружающих посторонних либидозную энергию в соответствии с собственным эстетизированным видением мира. Последствием этого дислоцированного, эстетизированного урбанистического пространства стал глубоко отчужденный, случайный жизненный опыт, рождающий ностальгическое стремление к былым временам, чувство тоски по утраченному миру. Поэтому, настаивает Уилсон (Wilson, 1995), фланёр был всего лишь мимолетной, прозрачной фигурой – в конечном итоге, невозможной, невидимой или фантазмагорической – стойчески выдумывающего самого себя (а иногда выдумывающую саму себя) и ведущего якобы героическое существование перед лицом головокружительного городского мира. Однако, бытие фланёра «более видимо после его смерти, чем в период расцвета» – его существование под другими обличьями убеждает нас в том, что мириады последующих культурных форм, «какими бы новыми они ни казались, по-прежнему несут на себе его черты как праформу» (Buck-Morrs, 1989: 346). И действительно, фланёрская протеофилия предложила новый вид эстетической организации пространства, контуры которой так же тесно связаны с постсовременными городскими условиями конца XX века, как они были связаны с современным миром метрополиса XIX столетия.

Соблазн, репрессия и потребление

Система может обойтись без индустриального, производственного города, пространства-времени потребительских товаров и рыночно-ориентированных общественных отношений. ... Однако она не может обойтись без урбанистичности как пространства-времени кода и репродукции.

(Baudrillard, 1993b: 78).

Как первостепенное место производства, современный город представлял собой мир, организованный в соответствии с законом. В этом аспекте он соотносится с исходным смыслом производства, «в действительности не связанным с процессом материального изготовления; это слово, скорее, значит, сделать видимым, стать причиной появления и заставить появиться: *про-из-вести*» (Baudrillard, 1987: 21). Однако для того, чтобы заставить что-то появиться, нужно заставить что-то другое исчезнуть. Соответственно, современный город был одновременно первостепенным местом злой аномии, конфликта, кризиса, насилия, безумия, революции и преступления – всего того, что выходило за рамки законности, находилось за гранью закона. Отсюда необходимость активного надзора и ре-

прессии, характерная для современного города. Однако в измерении, трансверсальном по отношению ко всему вышеперечисленному, перипатетическое существование фланёра определялось не с точки зрения каких-то граней, за которые можно было бы переступить, а с точки зрения глубоко отчужденного отношения к молярному порядку. Мир фланёра всегда был уже гетеротопным по отношению к когнитивному социальному пространству современности. Действительно, фланёр спонтанно преобразовывал институт закона в *правила* неограниченного цикла непрерывающейся рефлексивной игры. Ведь *правило* избавляет и от закона, и от его противоположности (преступления, или «беззакония»); он устремляется по ту сторону закона. Как пишет Бодрийяр, если закон — это всегда то, что можно переступить, «то по отношению к правилам игры не имеет смысла говорить о «преступлении»; внутри циклического возвращения нет черты, через которую можно перепрыгнуть (вместо этого нарушивший правила просто выбывает из игры)» (Baudrillard, 1990c: 131–132).

Однако в определенной точке пространства-времени, хотя, конечно, нерегулярно и спорадически, «соблазненный фланёр трансформировался в потребителя» (Bauman, 1993a: 173). Взгляд фланёра (а также, может быть прототипически, взгляд фланёрки) бывал захвачен — или, точнее, *куплен* — эффектной демонстрацией потребительских товаров, предлагаемых коммодифицированными пространствами города. И здесь скрывается окончательная истина о взгляде фланёра. Для нарождающихся боссов консюмеризма, «право рассматривать задаром было наградой для фланёра — завтрашнего *покупателя*» (Bauman, 1993a: 173). На фланёрском взгляде можно было делать деньги, и как раз это коммодифицированная зеркальность предоставила модель, которая будет отныне озарять социальное пространство в целом. В метаморфозе мира фланёра в мир потребления «совершилось чудесное воплощение потребительского товара в покупателе. ... Теперь уже неясно, что (или кто) является предметом потребления, а кто (или что) — покупателем» (там же: 173–174). В таком мире «одно и то же гомогенное пространство без размышлений сводит вместе людей и вещи — это пространство прямой манипуляции. Но кто кем манипулирует?» (Baudrillard, 1994: 76).

Если соблазн города как игры был дан фланёру когнитивным порядком закона, то трансформация, которую претерпела система в целом была ничем иным, как *распространением роли* фланёра на всё общество. Постсовременность апроприировала фланёрскую экс-апроприацию пространства современности, трансформировав город в *управляемую* игровую площадку (Bauman, 1993a). И это преобразование в целом лучше согласуется с логикой соблазнения, или свращения — в полном соответствии со смыслом слова «*со-вращать*, сворачивать, заставить свернуть с дороги» (Baudrillard, 1990c: 22) — чем принудительная реализация, предусматриваемая производством и законом. На самом деле, по иронии судьбы современность отомстила, растянув закон и адсорбировав его в извилистую поверхность

асимптотической *нормы* (Baudrillard, 1990b; Clarke and Doel, 1994; Doel and Clarke, в печати): по замечанию Бодрийера, «Закон — это *инстанция*¹², тогда как норма — это кривая; закон трансцендентен, тогда как норма — это середина» (Baudrillard, 1990b: 164). В этом движении *аномия* ретранскрибируется и рассеивается в статистическом поле *аномалии* — в «поле, нормализованном таким образом, что в нем больше не имеет места ненормальности» (Baudrillard, 1990a: 26). Соответственно, сегодня больше нет черт, через которые можно перепрыгнуть; нет законов, через которые можно преступить. В противоположность былому *чистому* игровому существованию фланёра, игра, в которую втягивает нас системная мутация, это игра, прежде всего, *контролируемая* — в кибернетическом смысле: с ней можно оперировать в соответствии со случайной игрой кода¹³.

Таким образом, в результате процесса уравнивания, который конституирует субъектов прежде всего как потребителей, репрессия больше не является господствующей формой социального контроля. Отныне мы находимся в ситуации, управляемой кодом, где «каждый знак и каждое сообщение ... представляется нам в качестве вопроса/ответа» (Baudrillard 1993b: 62), где всё принимает форму *теста* или *тестирования*. Это рыночно регулируемая форма, которая во всё большей степени характеризуется с точки зрения своей способности обеспечить коммодифицированные «решения» бытовых проблем (даже ее способность порождать «проблемы», нуждающиеся в решении, уже не является тайной, ждущей разоблачения). И в то время, как всё это гарантирует капиталу постоянную реализацию стоимости, не менее важен тот факт, что эта ситуация характеризуется навязыванием существенно нового способа — или кода — социальной интеграции. Мы действительно вступили в фазу *лотерейного общества*, управляемого возвращающим обаянием неопределенной и безразличной игры случайных сил. «Вся система представляет собой нечто вроде реализации безразличия», — пишет Бодрийер (Baudrillard, 1995b: 91). Эта система покоится, прежде всего, на том основании, что у нас нет другого (реального) выбора, кроме как выбирать.

¹² В этом английском переводе (Baudrillard, 1990b: 164) французское слово *instance* переведено как «правило», в результате чего оказывается проигнорированной ключевая разница между законом и правилом. В другом английском переводе (Baudrillard, 1990a: 26) слово *instance* переведено как «учреждение», в результате чего теряется важное для Бодрийера противопоставление *фривольны* нормы и *грань* закона.

¹³ «Подобно знаковой форме, потребительский товар — это код, управляющий меновой стоимостью» (Baudrillard, 1981: 146). Специфичная модальность *кода* состоит в его операциональном функционировании как средства десигнации и классификации. Например, «Система предмет-и-реклама ... в меньшей степени конституирует язык, для чего ей не хватает живого синтаксиса, а набор сигнификаций. Обедненный, и при этом эффективный, это, так или иначе, код. Он не структурирует личность, но обозначает и классифицирует ее» (Baudrillard, 1996: 193). Такая *форма* кода стала «фундаментальной социальной формой контроля, которая действует, деля до бесконечности практики и реакции» (Baudrillard, 1993b: 62).

Следует пояснить, однако, что в этом процессе предшествующий порядок адсорбируется и транспонируется в области гиперреальности. Следовательно, без закона обойтись нельзя. Он не исчезает, а продолжает жить, в состоянии призрачного существования или второго пришествия — *фрактальный*, а не *фатальный* способ исчезновения¹⁴. Затем, «даже репрессия интегрирована в качестве знака в этот мир симуляции. Репрессия, ставшая сдерживанием, — это всего лишь еще один знак в мире убеждения» (Baudrillard, 1994: 76). Из всего этого не следует, поэтому, что классовые призраки перестали бродить по миру постсовременности. Из этого не следует также, что из-за радикального процесса индивидуации надындивидуальные группировки и коллективы как таковые волей-неволей прекратили свое существование. Класс сам по себе подвержен метастазному разрастанию — из чего следует постепенное выветривание всякого *аутентичного* смысла из понятия класса или классовой борьбы. Класс, таким образом, разрастается вдоль новых осей, которые всё в большей степени определяются по отношению к культурному, а не только экономическому капиталу (Bourdieu, 1984), в то время как быстро растущие (и классово неоднородные) *средние* классы свидетельствуют о том, насколько тесно социальный порядок переплетается с потреблением. Точно так же вторжение искрометной, молекулярной антиструктурной социальности — решающая характеристика новых «племен» Маффезоли (Maffesoli 1996) — это прямое следствие метастаз, охватывающих противопоставленную ей ясность закона. Переход от ситуации, требующей активной, централизованной силы репрессии к ситуации управляемой (в соответствии со статистической нормой) пассивной и децентрализованной силой соблазна является, по своему смыслу, переходом к эпохе «непосредственной коллективности», которая — что особенно важно для города — обладает переходной «искрометностью» городской толпы без необходимости соприсутствия ее членов в физическом пространстве (Shields, 1992). Таким образом, нео-«племена» — это феномен настоящего гиперпространства, которое разрывает и смешивает различия между физическим, когнитивным, эстетическим и моральным пространством в игре различий, которая сама по себе недетерминирована и, собственно, *безразлична*.

Таким образом, структурная революция, совершенная системой, поглощает, а не искореняет современный социальный порядок. Соблазненные получили от общества свободу, более не сдерживаемую в соответствии с за-

¹⁴ Может быть, ничто не подвергалось стольким неверным интерпретациям, сколько статус смерти и исчезновения в сегодняшнем мире. «То, что исчезает, имеет все шансы возникнуть вновь. Ведь то, что умирает, то уничтожается в линейном времени, а то, что исчезает, переходит в состояние констелляции. Оно становится событием в круговращении, которое может многократно вернуть его обратно» (Baudrillard, 1990d: 92). Исчезновение имеет циклическую обратимость — в отличие от необратимости смерти, вписанной в линейное время (см. Clarke and Doel, 1994; Bauman, 1993b).

коном. При этом подразумевается, что в их собственных интересах играть по правилам общества потребления, что они будут (хотя бы цинично) принимать и усваивать представление о том, что это общество их устраивает, а они устраивают общество. Ведь для тех, кто не лишен собственности, рынок, действительно, обладает определенным «демократическим» характером, в отличие от всех других социальных систем, пытавшихся разрешить ту же самую базовую проблему. Бодрийяр говорит: «Каждый равен перед правилом. А перед законом мы, конечно, не равны. Закон — это принцип основополагающего неравенства. Но каждый равен перед правилом, потому что оно произвольно. Поэтому здесь мы находим основания истинной демократии ... хотя и не обычными политическими способами» (Baudrillard, 1995b: 92). Рынок это система, которая *в принципе* — даже если только в принципе — открыта для каждого. Это система чистой недетерминированности, которая не основывается ни на производственной меритократии, ни на каких-либо иных знаках исключительности (таких, как унаследованное состояние или положение). И, как бы для того, чтобы упрочить этот последний момент, успех в этой системе может, на уровне симуляции, искупить номинальные атрибуты унаследованного социального положения: например, рынок землевладельческих титулов и популярен, и прибылен.

Таким образом, с практической точки зрения, принятие свобод, предлагаемых обществом потребления, равносильно принятию, хотя бы циничному, рациональности, эффективности и предусмотрительности рынка — что влечет за собой принятие сопутствующего тезиса об исключительной важности денег и всего, что подразумевает обладание ими: иначе говоря, прежде всего, *зарабатывания* их, хотя выиграть их с риском, унаследовать их и т. д. — также более, чем приемлемо. И, разумеется, если деньги добыты *незаконным путем*, из этого вовсе не должно автоматически следовать, что полученные таким образом деньги дурно пахнут. Затем, принятие этой свободы и связанное с ним допущение важности денег и их приобретения представляют собой взаимно усиливающие ориентации. Поскольку деньги — это тоже потребительский товар, из этого логически следует, что проблема получения денег, определенно лучше всего (то есть, самым «демократическим» путем) решается с помощью рынка (то есть, с помощью рынка труда — конечно, это очень специфичный рынок, но, тем не менее, это *рынок*).

Всё это прямо следует из общепринятого допущения, что нынешняя система в наибольшей степени способна гарантировать личную свободу (Bauman, 1988). Вера в консюмеризм, рынок и погоню за деньгами в принципе равносильна — и здесь, опять-таки, важен сам принцип — допущению, что эта система представляет собой *единственно* возможную форму свободы от репрессий. Это гарантировано мутацией самой системы: «Соблазн versus террор. Вот ставка, потому что другой нет» (Baudrillard, 1993b: 183). Соблазн, таким образом, равносильен «пакетному соглашению», единственно доступной форме свободы от остаточного «второго мира» репрессии —

даже если, для молчаливого большинства, он равносильен (посмотрим на вещи реально) допущению денег как «необходимого зла», влекущему за собой торговлю рабочей силой на рынке. Поэтому «как раз возможность выкупить себя из этого второго мира делает деньги столь привлекательными и побуждает людей с таким старанием их добывать» (Bauman, 1987: 169). Отказ принять требования общества потребления создает обстоятельства, считающиеся необходимыми для непрерывного репрессивного осуществления закона: «Простому говоря, — замечает Бауман, — вчерашние обездоленные не могли стать производителями, а сегодняшние обездоленные не могут стать потребителями» (Bauman, 1995: 204). Таким образом, параллельные миры соблазна и репрессии, конституирующие общество потребления, полностью взаимозависимы: «Две части могут существовать только вместе — и только вместе они могут быть ликвидированы» (Bauman, 1987: 168). Это две стороны одного и того же организующего принципа.

Сегодня степень зависимости от рынка выше, чем когда-либо. Наша вера в потребление дошла до той точки, где наше собственное раздробленное самосознание — освободившееся как от пред-современной общинной, *так и* от современной классово-позиции — само склоняется к «рыночному решению» (что, конечно, вовсе не то же самое, что решение на рынке — совсем наоборот!). Но сегодня, как полагает Бауман, «с помощью рынка каждый может собрать воедино различные элементы собственной личности на свой вкус по технологии “сделай сам”» (Bauman 1990b: 120). Это прямое последствие структурной революции, которая привела в движение случайную игру сил чистой симуляции. И если исторгнутые из системы готовы чувствовать себя жертвами, которыми их сделали против их воли, то это служит только знаком преимущества такой системы. Спиралевидный рост преступлений, связанных с собственностью, и направленных против «соблазненных», указывает на интимную, спорадическую и случайную связь между двумя мирами на уровне социальной практики, которая, будучи направляема соблазняющей силой консюмеризма (и свидетельствуя об этой силе), обеспечивает рудиментарную законность, может быть, очерченную четче, чем когда-либо — в качестве механизма рекламы. (И вместе с тем следует также отметить, что фундаментальная недетерминированность системы одновременно привела к росту (и беспокойству о) таких характерных для среднего класса нарушениях при посещении магазина, как kleptomания, которые — на что нельзя не обратить внимания, ведут свою родословную со времени возникновения в XIX столетии современной потребительской культуры (Abelson, 1989; Camhi, 1993).)

Отождествление потребления со свободой носит, таким образом, глубоко редуционистский характер. Хотя оно, на первый взгляд, прямо соотносится с удовольствием и благосостоянием общества и его членов, в действительности оно представляет собой не то, чем кажется, а, скорее, является способом обеспечения воспроизводства условий собственной возможности. Повто-

рим: «Система потребления как социальная логика всецело покоится на отрицании удовольствия. Удовольствие больше не является целью, объектом рационального стремления, но превращается в индивидуальную рационализацию процесса, имеющего внеположенную цель» (Baudrillard, 1988a: 46).

Заключительные замечания: к пост-урбанистическому вопросу

Мало по малу социальное сознание перестало связываться с производством и сосредотачиваться на быте и потреблении. Вместе с «субурбанизацией» начался процесс децентрализации города.

(Lefebvre, 1996: 77).

На тридцать километров все вокруг, все стрелки направляют Вас к этим огромным гипермаркетам, к этому гиперпространству потребительских товаров, где во многих отношениях вырабатывается новая социальность .

(Baudrillard, 1994: 75).

Современная социальная жизнь порождена городом и городской реконфигурацией социального пространства. Постсовременная жизнь — это жизнь в городе, продолжающем свое существование во фрактальной форме. В числе моделей «пост-урбанистического» пространства, организуемого этой формой существования, мы находим гипермаркет. Как полагает Бодрийяр, «роль гипермаркета выходит далеко за рамки «потребления», и предметы там больше не обладают специфичной реальностью: первично их сериальная, циклическая, зрелищная организация — модель будущих социальных отношений» (Baudrillard, 1994: 77). Специфичность предмета таким образом обобщается и переопределяется для постсовременного общества в целом: «предметы больше не являются потребительскими товарами: они больше не являются даже знаками, значение которых и сообщение которых каждый может дешифровать и присвоить; они — *тесты*, они спрашивают нас, и мы должны отвечать им, и ответ уже включен в вопрос» (там же: 75). Отныне и впредь мы будем *постоянно тестироваться* системой, и если именно это мы наблюдаем в случае маркетинговых исследований, подсчета голосов избирателей и т. д. (Clarke and Doel, 1994), то вся сфера потребления приобретает характер бесконечного референдума, конституирующего «пространство-время цельной операциональной симуляции социальной жизни» (Baudrillard, 1994: 76):

Мы живем в темное и страшное время, время опросов, рейтингов и маркетинговых исследований. ... Они делают опросы, предпринимают исследования. Они узнают, что хотят люди и дают им это. *Это не работает*, потому что когда люди по-

лучают обратно якобы собственные идеи ... то идеи всегда так или иначе *изменены, выхолощены*, это вовсе не то, что они имели в виду. Они уже знают эту туфту, это та же самая туфта, о которой они говорили маркетинговому исследователю: *это скучно ... они находят то, о чем знали заранее* (Heimel, б.д., без пагинации).

В такой ситуации роль гипермаркетов служит моделью конца социального, «переопределения встречных потоков в терминах интегральных двухсторонних каналов связи» (Baudrillard, 1994: 76). Мы становимся свидетелями морфогенеза кибернетического типа. Если однажды пространство города было подчиненно механическому контролю предшествующего социального порядка – рабочие, «загоняемые в определенное время на свое рабочее место и в определенное время изгоняемые», регулируемые «непрерывным рациональным ограничением» (там же: 75-6) – то сегодня это происходит в соответствии со «сценариями молекулярного контроля, которые носят характер генетического кода» (там же: 77). И такие коды сами спонтанно реинтегрируются в систему при помощи компьютерного моделирования торговых центров и их недетерминированных, неявно «функциональных» территорий (ср. Clarke, 1995).

Если по отношению к более ранней, современной фазе развития консюмеризма, с универсальным магазином как его культурным и коммерческим апофеозом, «города оставались городами», то «то новые города, имеющие в качестве *сателлитов* гипермаркеты или *торговые центры* ... перестают быть городами и становятся метрополисными территориями» (Baudrillard, 1994: 77). Эта ядерная, сателлитная форма пронизывает социальное пространство; «именно гипермаркет устанавливает орбиту, вдоль которой движется субурбанизация» (там же). Подобный морфогенез выявляет гиперреальный статус таких моделей, как гипермаркет. Ибо его функция не имеет ничего общего с современным функционализмом розничной торговли. Такие «формы» – это «функциональные ядра, которые больше не функциональны» (там же: 78). Они служат созданию пространства контроля, берущего свое начало в классическом режиме надзора, который, вкупе с эстетикой исчезновения, сам интегрируется в интерьер торгового центра; кабельная телекамера стала частью «декора симулякра» (там же: 76).

Поэтому такие «негативные сателлиты города ... предсказывают конец города, в том числе современного города, как качественно детерминированного пространства, как оригинального синтеза общества» (там же: 78). Соответственно, современный город, «исторически воздвигнутый город, больше не живет практически и не понимается практически. Это только предмет культурного потребления для туристов» (Lefebvre, 1996: 148). И таким образом опыт пост-современного, пост-урбанистического мира принимает форму неопосредованного опыта алеаторной трансформации пространства-времени. Именно эта способность социальной системы мутировать в ответ на противоречивые условия собственной возможности и переопределять пространство-время в образах собственных симулякров свиде-

тельствует о том, что в будущем осознание города должно экс-апроприировать его как невозможный объект. Мы действительно являемся свидетелями усложнения города – его транспозиции в области симуляции.

Перевод с англ. Игоря Пильщикова

Библиография

- Abelson, E.S. (1989) When ladies go a-thieving: middle-class shoplifters in the Victorian department store. Oxford University Press, Oxford.
- Acton, W. (1968) Prostitution. MacGibbon and Kee, London.
- Alliez, E. and M Feher (1989) Notes on the sophisticated city. In M. Feher and S. Kwin-ter (eds.),
- The contemporary city: zone parts I and II, Zone Books, New York, 41-55.
- Anon. (1862) The rape of the glances. The Saturday Review, I February, 124-5.
- Barret-Ducrocq, F. (1991) Love in the time of Victoria. Verso, London.
- Baemreither, J.M. (1889) English associations of working men. Sonnenschein, London.
- Baudelaire, C. (1970) Paris spleen. New Directions Books, New York.
- Baudrillard, J. (1972) Modernite. Encyclopaedia Universalis vol. 11.
- (1981) For a critique of the political economy of the sign. Telos, St Louis.
- (1987) Forget Foucauli. Semiotext(e), New York.
- (1988a) Selected writings. M. Poster (ed.), Polity, Cambridge.
- (1990a) Fatal strategies. Pluto, London.
- (1990b) Revenge of the crystal: selected writings on the modern object and its destiny, 1968-1983. P. Foss and J. Pefanis (eds.), Pluto, London.
- (1990c) Seduction. Macmillan, London.
- (1990d) Cool memories. Verso, London.
- (1993a) Baudrillard live: selected interviews. M. Gane (ed.), Routledge, London.
- (1993b) Symbolic exchange and death. Sage, London.
- (1994) Simulacra and simulation. University of Michigan Press, Ann Arbor.
- (1995a) The virtual illusion: or the automatic writing of the world. Theory. Culture & Society 12,97-107.
- (1995b) Symbolic exchange: taking theory seriously. An interview with Jean Baudrillard by Roy Boyne and Scott Lash. Theory. Culture & Society 12, 79-95.
- (1996) The system of objects. Verso, London.
- Bauman, Z. (1987) Legislators and interpreters: on modernity, post-modernity and intellectuals. Polity, Cambridge.
- (1988) Freedom. Open University Press, Milton Keynes.
- (1990a) Modernity and ambivalence. In M. Featherstone (ed.), Globalization: nationalism, globalization and modernity, Sage, London, 143-69.
- (1990b) Thinking sociologically. Blackwell, Oxford.
- (1991) Modernity and ambivalence. Polity, Cambridge.
- (1992) Intimations of postmodernity. Routledge, London.

- (1993a) *Postmodern ethics*. Blackwell, Oxford.
- (1993b) *The sweet scent of decomposition*. In C. Rojek and B.S. Turner (eds.). *Forget Baudrillard?* Routledge, London, 22-46
- (1995) *Life in fragments: essays in postmodern ethics*. Blackwell, Oxford.
- Berman, M. (1983) *All that is solid melts into air: the experience of modernity*. Verso, London.
- Benjamin, W. (1973) *Charles Baudelaire: a lyric poet in the era of high capitalism*. New Left Books, London.
- (1975) *The work of art in the age of mechanical reproduction*. In *Illuminations*, Fontana, London, 219-53.
- (1985) *Central Park*. *New German Critique* 34, 32-58.
- Bourdieu, P. (1984) *Distinction: a social critique of the judgement of taste*. Routledge, London.
- Bowlby, R. (1985) *Just looking: consumer culture in Dreiser, Gissing and Zola*. Methuen, London.
- Buck-Morss, S. (1986) *The flaneur, the sandwichman and the whore: the politics of loitering*. *New German Critique* 39, 99-140.
- (1989) *The dialectics of seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project*. MIT Press, Cambridge.
- Camhi, L. (1993) *Stealing femininity: department store kleptomania as sexual disorder*. *Differences* 5, 26-50.
- Chadwick, O. (1975) *The secularization of the European mind in the nineteenth century*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Clarke, D.B. (1995) *The limits to retail capital*. In N. Wrigley and M. Lowe (eds.), *Retailing, capital & consumption: towards the new retail geography*. Longman, London, 284-301.
- and Doel, M.A. (1994) *Transpolitical geography*. *Geoforum* 25, 505-24.
- Davis, J. (1989) *From 'rookeries' to 'communities': race, poverty and policing in London, 1850-1985*. *History Workshop* 27, 66-85.
- Deleuze, G. (1972) *Proust and signs*. George Braziller, New York.
- and F. Guattari (1983) *Anti-Oedipus: capitalism and schizophrenia*. Athlone, London.
- Derrida, J. (1976) *Of grammatology*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Doel, M.A. (1996) *A hundred thousand lines of flight: a machinic introduction to the nomadic thought and scrumpled geography of Gilles Deleuze and Felix Guattari*. *Environment and Planning D: Society and Space* 14, 421-39.
- and D.B. Clarke (forthcoming) *Transpolitical urbanism: suburban anomalies and ambient fear*. In C. Harrington and G. Crysler (eds.). *Street wars: space, power and the city*, Manchester University Press, Manchester.
- Douglas, M. (1970) *Purity and danger: an analysis of concepts of pollution and taboo*. Harmondsworth, Penguin.
- Engels, F. (1962) *The condition of the working class in England in 1844*. Progress, Moscow.

- Featherstone, M. (1989) *Consumer culture and postmodernism*. Sage, London.
- Frisby, D. (1994) The flaneur in social theory. In K. Tester (ed.), *The flaneur*, Routledge, London, 81-110.
- Giddens, A. (1994) Living in a post-traditional society. In U. Beck, A. Giddens and S. Lash, *Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order*. Polity Press, Cambridge, 56-109.
- Gregory, D. (1994) *Geographical imaginations*. Blackwell, Oxford.
- Hrrington, C. and G. Crysler (eds.) (1996) *Street wars: space, power and the city*. Manchester University Press, Manchester.
- Harvey, D. (1985a) *The urbanization of capital*. Blackwell, Oxford.
- (1985b) *Consciousness and the urban experience*. Blackwell, Oxford.
- Heimel, C. (n.d.) *How to be creative*. In Godhaven II, Godhaven Ink, P O Box HP94, Leeds LS6 1YT, UK.
- Jameson, F. (1983) Postmodernism and consumer society. In H. Foster (ed.), *The anti-aesthetic*, Bay Press, Port Townsend, 111-25.
- Kellner, D. (1989) *Jean Baudrillard: from Marxism to postmodernism and beyond*. Polity, Cambridge.
- Kracauer, S. (1937) *Offenbach and the Paris of his time*. Constable, London.
- Kundera, M. (1984) *The unbearable lightness of being*. Faber and Faber, London.
- Laermans, R. (1993) Learning to consume: early department stores and the shaping of modern consumer culture 1860-1914. *Theory. Culture & Society* 10, 79-102.
- Lawrence, J.C. (1992) Geographical space, social space, and the realm of the department store. *Urban History* 19, 64-83.
- Leach, W.R. (1984) Transformations in a culture of consumption: women and department stores, 1890-1925. *Journal of American History* 71, 319-42.
- Lefebvre, H. (1971) *Everyday life in the modern world*. Harper and Row, New York.
- (1996) *Writings on cities*. E. Kofman and E. Lebas (eds.), Blackwell, Oxford.
- Lofland, L.H. (1973) *A world of strangers: order and action in urban public space*. Basic Books, New York.
- McRobbie, A. (1992) The Passagenwerk and the place of Walter Benjamin in cultural studies: Benjamin, cultural studies, Marxist theories of art. *Cultural Studies* 6, 147–69.
- Maffesoli, M. (1996) *The time of the tribes: the decline of individualism in mass society*. Sage, London.
- Marx, K. (1967) *Capital: a critique of political economy*. International Publishers, New York.
- Miller, M. (1981) *The Ban Marche: bourgeois culture and the department store, 1869-1920*. Princeton University Press, London.
- Morris, R.J. (1983) Voluntary associations and British urban elites, 1780-1850: an analysis. *The History Journal* 26, 95-118.
- Ogborn, M. (1993) Ordering the city: surveillance, public space and the reform of urban policy in England, 1835-56. *Political Geography* 12.6, 505-21.
- Pefanis, J. (1991) *Heterology and the postmodern: Bataille, Baudrillard, and Lyolard*. Duke University Press, Durham.
- Proust, M. (1981) *Remembrance of things past*. Chatto and Windus, London.

- Razzell, P.E. and R.W. Wainwright (eds.) (1973) *The Victorian working class. Selections from letters to the Morning Chronicle*. Cass, London.
- Roberts, M.J.D. (1988) Public and private in early nineteenth-century London: the Vagrant Act of 1822 and its enforcement. *Social History* 13, 273-94.
- Ryan, J. (1994) Women, modernity and the city. *Theory, Culture & Society* 11, 35-64.
- Sartre, J.-P. (1957) *Being and nothingness*. Methuen, London.
- Shields, R. (1992) The individual, consumption cultures and the fate of community. In R. Shields (ed.), *Lifestyle shopping: the subject of consumption*, Routledge, London, 99-113.
- Simmel, G. (1971) The metropolis and mental life. In D. Levine (ed.), *On individuality and social form*. University of Chicago Press, Chicago.
- (1978) *The philosophy of money*. Routledge, London.
- Taylor, P.J. (1996) What's modern about the modern world-system? Introducing ordinary modernity through world hegemony. *Review of International Political Economy* 3.2, 260-86.
- Tester, K. (ed.) (1994) *The flaneur*. Routledge, London.
- Trudgill, E. (1973) Prostitution and paterfamilias. In H. J. Dyos and M. Wolff (eds.), *The Victorian city*, vol 2, 693-706.
- Walkowitz, J. (1977) The making of an outcast group: prostitution and working women in nineteenth-century Plymouth and Southampton. In M. Vinicus (ed.), *A widening sphere: changing roles of Victorian women*, Methuen, London.
- (1980) *Prostitution and Victorian society: women, class and the state*. Cambridge University Press, Cambridge.
- (1992) *City of dreadful delight: narratives of sexual danger in late Victorian England*. Virago, London.
- Williams, R.H. (1982) *Dream worlds: mass consumption in late nineteenth-century France*. University of California Press, Berkeley.
- Wilson, E. (1995) The invisible flaneur. In S. Watson and K. Gibson (eds.), *Post-modern cities and spaces*, Blackwell, Oxford, 59-79.
- Wirth, L. (1948) Urbanism as a way of life. *American Journal of Sociology* 4, 1-24.
- Wolff, J. (1990) *Feminine sentences: essays on women and culture*. Polity, Cambridge.